

Гольдман Эмма.

Мое разочарование

в России

1922, источник: «Библиотека Анархизма»

- Предисловие (к первому тому американского издания)
- Предисловие (ко второму тому американского издания)
- Глава I. Депортация в Россию
- Глава II. Петроград
- Глава III. Смятение мыслей
- Глава IV. Москва: первые впечатления
- Глава V. Встречи с людьми

Предисловие (к первому тому американского издания)

Решение записать происшедшее со мной, наблюдения и реакции во время моего пребывания в России, я сделала раньше, чем задумалась об отъезде из той страны. Фактически, это было моей главной причиной для того, чтобы покинуть ту трагическую и героическую страну.

Самые сильные из нас не могут заставить себя бросить долгожданную мечту. Я приехала в Россию, охваченная надеждой, что я должна найти новорожденную страну, с ее людьми, полностью посвятившими себя великой, хотя и очень трудной, задаче революционного преобразования. И я пылко надеялась, что смогу принять активное участие в этой вдохновляющей работе.

Я нашла действительность в гротеске России, совершенно отличающимся от того великого идеала, который вознес меня на гребень большой надежды к земле обетованной. Потребовалось пятнадцать долгих месяцев для того, чтобы я утвердилась в своем отношении к происходящему. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц добавлял новые звенья в фатальной цепи, которая обрушивала мое воздвигнутое с любовью сооружение. Я отчаянно боролась против разочарования. В течение долгого времени я противилась моему внутреннему голосу, который убеждал меня посмотреть в лицо неопровержимым фактам. Я не хотела и не могла сдаться.

И тогда случился Кронштадт. Это был последний разрыв. Это окончательно привело к ужасному осознанию, что Русской Революции больше нет.

Я видела перед собой большевистское государство, огромное, сокрушающее любое созидательное революционное усилие, подавляющее, унижающее и разлагающее всё и вся. Неспособная и ненамеренная стать винтиком в этой зловещей машине, понимая, что я не могу иметь никакого практического применения для России и ее людей, я решила уехать из страны. Покинув ее, я решила рассказать честно, искренне, и как можно более объективно историю моего двухлетнего пребывания в России.

Я уехала в декабре 1921 года. Я могла описать это еще тогда, по свежим впечатлениям моего ужасного опыта. Но я ждала четыре месяца до того момента, как я смогла убедить себя, чтобы написать ряд статей. Я откладывала еще четыре месяца прежде, чем приступить к написанию этой книги.

Я не претендую на роль историка. Отстоящий на пятьдесят или сто лет от событий, которые он описывает, историк может показаться объективным. Но реальная история не компиляция простых данных. Это бесполезно без человеческой стихии, которую историк обязательно находит в записях современников рассматриваемых событий. Это – личные реакции участников и наблюдателей, которые предоставляют жизненность всей истории и делают ее яркой и правдивой. Именно таким образом, были написаны многочисленные истории французской Революции; и все же среди них найдется очень немного таких, которые выделяются истинностью и убедительностью, освещающие события постольку, поскольку историк чувствовал свой предмет посредством человеческих документов, оставленных современниками той эпохи.

Я сама – и я верю, что и большинство изучающих историю – ощущало и видело Великую Французскую Революцию намного более жизненно из писем и дневников современников, таких как мадам Ролан, Мирабо, и других очевидцев, чем от так называемых объективных историков. По странному совпадению том писем времен французской Революции, изданный талантливым немецким анархистским публицистом Густавом Ландауэром, попал мне в руки во время самого критического периода моего российского опыта. Я читала их, слыша большевистскую артиллерию, начавшую бомбардировку кронштадтских мятежников. Те письма дали мне самое яркое понимание событий французской Революции. Как никогда прежде они привели меня к пониманию того, что большевистский режим в России был, в сущности, точной копией того, что случилось во Франции за более чем столетие до этого.

Великие толкователи французской Революции, такие как Томас Карлайл и Петр Кропоткин, черпали свое понимание и вдохновение в записях людей того периода. Так же поступят и будущие историки Великой Русской Революции – если они будут писать реальную историю не как простую компиляцию фактов, а основываясь на впечатлениях и реакции тех, кто пережил Русскую Революцию, кто разделит страдание и тяжелый труд людей, и кто фактически участвовал или был свидетелем трагической панорамы в ее ежедневном развертывании.

Пока я была в России, у меня не было никакого ясного представления, сколько уже было написано на тему Русской Революции. Но те немногие книги, которые мне иногда попадались, производили на меня впечатление совершенной неадекватности. Они были написаны людьми без непосредственного знания ситуации и были удручающе поверхностными. Некоторые из авторов потратили от двух недель до двух месяцев в России, не зная языка страны, и в большинстве случаев были в сопровождении официальных гидов и переводчиков. Я не обращаюсь здесь к авторам, которые, и в России и вне ее, играют роль большевистских профессиональных льстецов. Они – класс обособленный. Им я посвятила главу «Коммивояжеры Революции». Здесь я имею в виду искренних друзей Русской Революции. Работа большинства из них привела к бесчисленной путанице и вреду. Они помогли увековечить миф, что большевики и Революция синонимы. Однако ничто не может быть дальше от правды, чем подобные утверждения.

Настоящая Русская Революция имела место в летние месяцы 1917-го. В этот период крестьяне овладевали землей, рабочие фабриками, таким образом, демонстрируя хорошее понимание социальной революции. Октябрьский переворот был последним штрихом к

работе, начатой шестью месяцами ранее. В великом восстании большевики присвоили себе голос народа. Они примеряли на себя аграрную программу эсеров и индустриальную тактику анархистов. Но как только прилив революционного энтузиазма вознес их на вершину власти, большевики отказались от этого маскарада. Именно тогда началось духовное отчуждение между большевиками и Русской Революцией. С каждым последующим днем промежуток становился более широким, их интересы все более расходились. Сегодня не будет преувеличением заявить, что большевики являются заклятыми врагами Русской Революции.

Суеверие умирает трудно. В случае этого современного суеверия процесс вдвойне труден, потому что различные факторы объединились, чтобы поддерживать искусственное дыхание. Международное вмешательство, блокада, и очень эффективная мировая пропаганда Коммунистической партии поддерживали большевистский миф. Наконец, даже ужасный голод эксплуатируется для этих целей.

Как сильно овладевает подобное суеверие, я понимаю на своем собственном опыте. Я всегда знала, что большевики – марксисты. В течение тридцати лет я боролась с марксистской теорией как с холодной, механистической, поработщающей формулой. В брошюрах, лекциях и дебатах я приводила доводы против этого. Поэтому я подозревала то, что могло бы ожидать от большевиков. Но нападение Антанты сделало из них символ Русской Революции, и привело меня к их защите.

С ноября 1917-го по февраль 1918-го, когда я была отпущена под залог из заключения, куда попала за свою агитацию против войны, я совершила поездку по Америке в защиту большевиков. Я издала брошюру, разъяснявшую Русскую Революцию и оправдывавшую большевиков. Я защищала их как воплощение практического духа революции, несмотря на их теоретический марксизм. Мое отношение к ним тогда характеризовано в следующих цитатах из моей брошюры «Правда о большевиках»:

Русская Революция – чудо в больше чем в одном отношении. Среди прочих экстраординарных парадоксов – феномен того, что марксисты социал – демократы Ленин и Троцкий принимают анархистскую революционную тактику, в то время как анархисты Кропоткин, Черкезов и Чайковский отказываются от подобной тактики и скатываются в марксистское резонерство, которое они всю свою жизнь отвергали как «немецкую метафизику».

Большевики 1903-го, хотя и были революционерами, придерживались марксистской доктрины относительно индустриализации России и исторической миссии буржуазии как необходимого эволюционного процесса прежде, чем российские массы могли сыграть собственную роль. Большевики 1917-го больше не верят в predetermined функцию буржуазии. Они увлекли себя вперед на бакунинских волнах; а именно, утверждают что однажды массы осознают свою экономическую силу и сделают свою собственную историю, они не должны быть связанными традициями и процессами мертвого прошлого, которые, как секретные соглашения, сделанные за круглым столом, не продиктованы непосредственно жизнью».

Издательская Ассоциация «Мать Земля», Нью-Йорк, февраль 1918.

В 1918-м, мадам Брешковская посетила Соединенные Штаты и начала кампанию против большевиков. Я был тогда в тюрьме Миссури. Огорченная и потрясенная деятельностью «Маленькой Бабушки Русской Революции», я написала ей письмо, в котором просила ее подумать о себе и не предавать то дело, которому она посвятила всю свою жизнь. Тогда я подчеркнула тот факт, что, в то время как ни один из нас не согласен с большевиками в теории, мы должны все же быть заодно с ними в деле защиты Революции.

Когда суд штата Нью-Йорк с помощью мошеннических методов лишил меня гражданских прав, и американского гражданства после тридцати двух лет проживания в стране, я отказалась от своего права на обжалование для того, чтобы вернуться в Россию и помочь в грандиозной работе. Я пылко полагала, что большевики содействовали Революции и действовали ради народа. Я цеплялась за свою веру и верила в это более года после моего прибытия в Россию.

Я наблюдала и изучала, много путешествовала по разным областям страны, встречалась с людьми различных оттенков политического мнения, со всем разнообразием друзей и врагов большевиков – и в результате убедилась в ужасном заблуждении, которое было навязано миру.

Я обращаюсь к этим обстоятельствам, чтобы показать, что мое изменение разума и сердца были болезненным и трудным процессом, и что мое окончательное решение высказаться имело единственную причину, что люди в мире смогут научиться делать различие между большевиками и Русской Революцией.

Обычно благодарность понимают так, что нельзя быть критически настроенным по отношению к тем, кто выразил тебе доброту. Благодаря этому понятию родители порабащают своих детей более эффективно, чем с помощью жестокого обхождения; и этим же друзья проявляют себя тиранами по отношению друг другу. Фактически, все человеческие отношения сегодня искажены этой вредной идеей.

Некоторые люди бранили меня за мое критическое отношение к большевикам. «Какая неблагодарность нападать на коммунистическое правительство после всего того гостеприимства и доброты, которыми она наслаждалась в России!», — восклицают они с негодованием. Я не хочу противоречить этому – я получала привилегии в то время, когда я была в России. Я, возможно, получила бы их в еще большем объеме, если бы и дальше согласилась служить власти имущим. Именно это обстоятельство было для меня мучительно трудным, чтобы высказаться против зла, которое я видела день за днём. Но, наконец, я поняла, что молчание – действительно знак согласия. Не осудив предательства Русской Революции, я стала бы причастной к этому предательству. Революция и благосостояние масс и в России и за ее пределами безусловно слишком важны для меня, чтобы позволить какой-либо личной предрасположенности по отношению к тем коммунистам, с которыми я встречалась и прониклась уважением, затенить мое чувство справедливости и заставить меня воздержаться от того, чтобы предоставить миру опыт моих двух лет в России.

В определенных кругах без сомнения последуют возражения, потому что я не привожу имен людей, которых цитирую. Некоторые могут даже использовать этот факт, чтобы дискредитировать мою правдивость. Но я предпочитаю остаться при своем, чтобы не оборачивать любого упомянутого к нежному милосердию ЧК, чем бы неизбежно это закончилось, если бы я обнародовала имена коммунистов или не коммунистов, которые не стеснялись говорить со мной. Те, кто знаком с действительным состоянием дел в России и кто не находится под гипнотическим влиянием большевистского суеверия, не находится на службе у коммунистов, согласятся со мной, что я даю истинную картину. Остальная часть мира поймет это в свое время.

Друзья, мнение которых я ценю, были так добры, что предположили, что моя ссора с большевиками происходит из-за моей социальной философии, а не из-за провала большевистского режима. Они утверждают, что я, как анархист, естественно настаиваю на важности человека и личной свободы, но в революционный период и человек, и свобода должны быть подчинены общей пользе. Другие друзья указывают, что разрушение, насилие, и терроризм – неизбежные факторы в революции. Как революционер, они говорят, я не могу последовательно возражать против насилия, осуществленного большевиками.

Оба этих критических замечания были бы оправданы, если бы я приезжая в Россию, ожидала бы найти осуществленный анархизм, или если бы я утверждала, что революции могут быть сделаны мирным путем. Анархизм никогда не был для меня механистической переделкой социальных отношений, которые будут наложены на человека с помощью политического переворота или передачи власти от одного социального класса другому. Анархизм был и остается для меня детищем не разрушения, а созидания – результатом роста и развития сознательных творческих социальных усилий преобразованных личностей. Я поэтому не ожидаю, что анархизм последует непосредственно за столетиями деспотизма и покорности. И я, конечно, не ожидала увидеть в России возмещенное марксистской теорией.

Я действительно, однако, надеялась найти в России по крайней мере начала социальных изменений, за которые сражалась Революция. Не судьба человека была моим главным беспокойством как революционера. Я должна была быть довольной, если бы российские рабочие и крестьяне в целом получили существенное социальное улучшение в результате деятельности большевистского режима.

Два года серьезных исследований убедили меня, что большие льготы, принесенные российским людям большевизмом, существуют только на бумаге, нарисованной яркими красками для масс Европы и Америки эффективной большевистской пропагандой. Как кудесники рекламы большевики превосходят все, что мир когда-либо знал прежде. Но в действительности российский народ ничего не получил от большевистского эксперимента. Безусловно, у крестьян есть земля; но не по милости большевиков, а завоеванная собственными силами, приведенными в движение перед октябрьским переворотом. То, что крестьяне были в состоянии сохранить землю, обязано главным образом неизменному славянскому упорству; и следствием того, что они являются безусловно наибольшей частью населения и глубоко приросли к земле, они не могли быть легко оторваны от этого как рабочие от их средств производства.

Российские рабочие, как и крестьяне, также использовали прямое действие. Они овладевали фабриками, организовывали свои собственные цеховые комитеты и фактически контролировали экономическую жизнь России. Но скоро они были лишены их власти и впряжены в индустриальный хомут большевистского государства. Имущественное рабство стало участью российского пролетариата. Это подавление и эксплуатация преподносились во имя абстрактного будущего, когда будут и комфорт, и свет, и тепло. Попробуйте отыскать, поскольку я так и не смогла найти, свидетельство льгот, полученных рабочими или крестьянами от большевистского режима.

С другой стороны, я действительно находила революционную веру людей сломленной, дух солидарности сокрушенным, значение товарищества и взаимопомощи искаженным. Надо было жить в России, близко к каждодневным делам людей; надо было видеть и чувствовать их чрезвычайное разочарование и отчаяние, чтобы полностью оценить эффект распада большевистских принципов и методов – разлагающих все, что когда-то было гордостью и славой революционной России.

Тот аргумент, что разрушение и террор – часть революции, я не обсуждаю. Я знаю, что в прошлом любые большие политические и социальные изменения требовали насилия. Америка могла бы все еще быть под британским ярмом, если бы не героические колонисты, которые посмели выступить против британской тирании силой оружия. Черное рабство могло бы все еще быть легализованным учреждением в Соединенных Штатах, если бы не воинственный дух Джона Брауна. Я никогда не отрицала, что насилие неизбежно, и при этом я не противоречу теперь. Одно дело, когда насилие используется в бою, как средство защиты. Совсем другое дело, когда насилие становится принципом терроризма, институционализируется, занимает главенствующее положение в социальной борьбе. Такой терроризм порождает контрреволюцию и в свою очередь непосредственно становится контрреволюционным.

Редко революции совершались с таким небольшим насилием как Русская Революция. Красный Террор не последовал бы, если бы люди и культурные силы оставались под контролем Революции. Этим был продемонстрирован дух товарищества и солидарности, которые преобладала всюду по России в течение первых месяцев после Октябрьской революции. Но склонность незначительного меньшинства к созданию абсолютного государства обязательно ведет к притеснению и терроризму.

Есть другое возражение на мою критику со стороны коммунистов. Россия бастует, они говорят, и неэтично для революционера становиться против рабочих, когда они бастуют против своих владельцев. Это – чистая демагогия большевиков, чтобы заставить замолчать критиков.

Это ложь, что русские люди бастуют. Напротив, суть вопроса в том, что русские люди подверглись локауту и что большевистское государство – как буржуазный индустриальный владелец – использует меч и ружье, чтобы не пустить людей на производство. В случае большевиков эта тирания замаскирована возбуждающими мир лозунгами: таким образом, они преуспели в том, чтобы ослепить массы. Только потому, что я – революционер, я отказываюсь примкнуть к классу собственников, который в России называется

коммунистической партией.

До конца моих дней мое место будет с неимущими и угнетенными. И совсем не важно, исходит ли тирания из Кремля или какого-либо другого пристанища власти. Я ничего не могла сделать для страдающей России в то время, когда была в той стране. Возможно, я могу сделать кое-что теперь, указывая на уроки российского опыта. Не только мой интерес к русскому народу послужил поводом, чтобы написать эту книгу, но и мой интерес к массам повсюду.

Эмма Гольдман

Берлин, июль 1922.

Предисловие (ко второму тому американского издания)

(Второй том, как объяснено в этом предисловии, был выпущен под названием «Мое дальнейшее разочарование в России». Это предисловие напечатано, чтобы избежать путаницы из-за различий в публикации американских и английских редакций книги.)

Литературным анналам известны случаи книг подвергнутых чистке, выкинутых целых глав или измененных из-за их неприятия. Но я уверена, что редко случается так, что книга была бы опубликована лишь более чем на треть и при этом, чтобы рецензенты не осознавали данный факт. Подобным сомнительным знаком отличия была удостоена моя книга о России.

Истории этого болезненного опыта можно было посвятить отдельную главу, но на этот раз достаточно изложить голые факты в следующем виде.

Моя рукопись была послана первоначальному покупателю в двух частях, в разное время. Впоследствии издательство Doubleday, Page Co. купило право на мою работу, но когда первые отпечатанные копии дошли до меня, в смятении я обнаружила, что не только оригинальное название, «Мои два года в России» быть изменено на «Мое разочарование в России», но и что последние двенадцать глав полностью пропущены, включая мое послесловие, которое, по крайней мере для меня, наиболее живая часть.

В результате последовавшего обмена телеграммами и письмами постепенно выяснилось, что издательство Doubleday, Page Co. получило мою рукопись из литературного агентства в полной уверенности, что она является полной. Так и неизвестно, что случилось со второй частью моей книги: или она не дошла до первоначального покупателя или же затерялась в его офисе. Так или иначе, но книга была опубликована без каких-либо подозрений на её незавершённость.

Настоящая книга содержит главы, пропущенные в первом американском издании, и я глубоко ценю преданность моих друзей, благодаря которым стало возможно появление тома с пропущенными главами в Америке и полного издания книги в Англии – воздавая должное и мне и моим читателям.

Приключения моей рукописи имеют и забавную сторону, которая бросает специфический свет на ее критиков. Из почти сотни рецензентов на мою книгу в Америке лишь только двое почувствовали её не завершенность. И, случайно один из них – не профессиональный

критик, а библиотекарь. Пожалуй, это отражение профессиональной проницательности или добросовестности.

Было бы пустой тратой времени обращать внимание на «критику» тех, кто или не читал книгу, или кому не достало ума понять, что книга издана незаконченной. Из всех представленных обзоров лишь два заслуживают внимание, как написанные серьезными и способными людьми.

Один из них считал, что опубликованное название моей книги было более подходящим своему содержанию, чем то название, которое выбрала я. Мое разочарование, утверждал он, — не только в большевиках, но в самой революции. В поддержку своей точки зрения он приводит утверждение Бухарина о том, что «революция не может быть выполнена без террора, разрухи, и даже бессмысленного уничтожения, потому как омлет нельзя приготовить, не разбив яйца.» Но, кажется, моему критику не приходит на ум, что разбить яйца всё же необходимо, но никакой омлет не может быть приготовлен, если выброшен желток. И это как раз то, как Коммунистическая партия совершила Русскую революцию. Желток они заменили «большевизмом», точнее говоря, «ленинизмом», результат чего показан в моей книге – результат, который постепенно осознается как полный провал в мировом масштабе.

Рецензент также представляет, что было «суровой необходимостью, управление нуждалось не в сохранении Революции, а в сохранении остатков цивилизации, что вынуждало большевиков использовать любое доступное оружие – террор, ЧК, подавление свободы слова и прессы, цензуру, воинскую повинность, трудовую повинность, реквизиции посевов крестьян, сплошное взяточничество и коррупцию». Он очевидно соглашается со мной, что коммунисты применяли все эти методы и что, как он сам утверждает, «средства в значительной степени предопределили итог» – доказательства и представление всего этого содержатся в моей книге. Единственной ошибкой этой точки зрения, тем не менее – наиболее живой, является предположение, что большевики были вынуждены прибегать к перечисленным методам, для того, чтобы «сохранять остатки цивилизации». Такой взгляд основан на полном заблуждении относительно философии и практики большевизма. Ничто не может быть дальше от желаний или намерений ленинизма чем «сохранение остатков цивилизации». Если бы вместо этого критик бы написал «сохранение коммунистической диктатуры, политического абсолютизма Партии», он был бы близок к истине, и у нас не было бы не спора на эту тему. Мы не должны не учитывать то, что большевики продолжают применять точно те же методы и по сей день – также как они это делали в «моменты крайней необходимости» (по словам рецензента) – в 1919-м, 1920-м, и 1921-м.

Сейчас же 1925 год. Военные фронты давно ликвидированы; внутренняя контрреволюция подавлена; старая буржуазия устранена; «моменты суровой необходимости» – в прошлом. Фактически, Россия политически признается различными правительствами Европы и Азии, и большевики приглашают международный капитал для притока в свою страну, природное богатство которой, как Чичерин уверяет мировых капиталистов, — «ждет чтобы его начали эксплуатировать.» «Моменты суровой необходимости» ушли, но террор, ЧК, подавление свободы слова и прессы, и все другие методы коммунистов прежних лет все еще остаются в силе. На самом деле, они применяются еще более жестоко и варварски, начиная со смерти

Ленина. Это должно «сохранить остатки цивилизации» или усиливать слабеющую партийную диктатуру?

Мой критик далее обвинял меня в вере в то, что если бы «русские совершили бы революцию по Бакунину, а не по Марксу», то результат был бы другим и более достойным. Я признаю себя виновной в обвинении. Да, я не только предполагаю, но я уверена в этом. Русская Революция, точнее большевистские методы, окончательно продемонстрировали, как революция не должна быть совершена. Российский эксперимент доказал обреченность политической партии, узурпирующей функции революционного народа, всемогущего государства, стремящегося навязать свою волю стране, диктатуры, пытающейся «организовывать» новую жизнь. Но я не должна повторить здесь мысли, которыми подвожу итог в заключительной главе моей книги.

Второй критик уверен, что я «предвзятый свидетель», потому что я, как анархист, настроена против правительства, безотносительно его форм. Вся целая первая часть моей книги полностью опровергает предположение о таком моем предубеждении. Я защищала большевиков и тогда, когда я еще находилась в Америке, и в течение долгих месяцев в России я искала любую возможность сотрудничать с ними и помочь в большой задаче революционного строительства. Хотя анархисты и настроены против правительств, я приехала в Россию, ожидая найти мой идеал осуществленным. Я видела в большевиках символ Революции, и я стремилась работать с ними, несмотря на наши различия. Однако, если недостаточная отчужденность от жизненных реальностей означает, что нельзя судить вещи справедливо, тогда мой критик прав. Возможно ли пережить два года коммунистического террора, режима, включающего в себя порабощение целого народа, уничтожение основополагающих ценностей, человеческих и революционных, коррупцию и бестолковое руководство и остаться при этом отчужденным или «беспристрастным» по словам критика. Я сомневаюсь, остался бы таким последний, хоть он и не анархист. Остался бы, будучи человеком?

И в заключение: данная публикация глав, отсутствующих в первом издании, происходит в очень существенный период в жизни России. Когда «НЭП», новая экономическая политика Ленина, была введена, там усилились надежды на лучшие времена, на постепенную отмену политики террора и преследования. Коммунистическая диктатура казалась склонной ослабить удушение мысли и жизни людей. Но надежда была недолгой. Начиная со смерти Ленина, большевики вернулись к террору худших дней их режима. Деспотизм, боящийся за свою власть, ищет безопасность в кровопролитии. Моя книга сегодня столь же своевременна, как и в 1922-м.

Когда первая серия моих статей о России появилась в 1922 году, и позже, когда моя книга была издана в Америке, я подверглась резким нападкам и опровержениям американских радикалов практически из любого лагеря. Но я чувствовала себя уверенной в том, что настанет время, когда маска была бы сорвана с фальшивого лица большевизма и великое заблуждение будет разоблачено. Это время настало еще скорее, чем я ожидала. В большинстве цивилизованных стран – во Франции, Англии, Германии, в скандинавских и латиноамериканских странах, даже в Америке постепенно спадает пелена слепой веры. Реакционный характер большевистского режима осознается массами через его терроризм и

преследования некоммунистического критического мнения. Мучения политических жертв диктатуры в тюрьмах России, в концентрационных лагерях крайнего Севера и в сибирской ссылке, пробуждают совесть наиболее прогрессивных элементов во всем мире. Почти во всех странах были созданы общества защиты и помощи политзаключенным России с целью обеспечения их освобождения и установления свободы мнения и выражения в России.

Если моя работа поможет в этих попытках пролить свет на действительное состояние дел в России и пробудить мир к осознанию истинного характера большевизма, и к гибели диктатуры – будь то фашистской или коммунистической – я буду хладнокровно терпеть все недоразумения и искажения от противников или друзей. И я не буду сожалеть о тяжелом труде и духовной борьбе, которые произвели эту работу, которая теперь, после многих превратностей, наконец напечатана в полном объеме.

Эмма Гольдман

Август 1925.

Глава I. Депортация в Россию

Ночью 21 декабря 1919 года, вместе с 248 другими политическими заключенными, я была выслана из Америки. Хотя было общеизвестно, что мы должны были быть высланы, немногие действительно полагали, что Соединенные Штаты так откровенно откажутся от своей роли убежища для политических беженцев, некоторые из которых жили и работали в Америке более тридцати лет.

В моем случае решение выслать впервые стало мне известным, когда в 1909 году федеральные власти нашли способ лишить прав человека, чье имя давало мне гражданство. То, что Вашингтон ждал до 1917 года, случилось из-за того обстоятельства, что ему не хватало психологического момента для подобного окончания дела. Возможно, я должна была оспорить свой случай сразу же. С тем общественным мнением, которое было распространено тогда, суд, вероятно, не выдержал бы мошеннических слушаний, которые лишали меня гражданства. Но тогда казалось невероятным, что Америка прибегнет к методу царистской высылки.

Наша антивоенная агитация добавила жару к военной истерии 1917-го, и таким образом снабдила федеральные власти желательной возможностью завершить заговор, начатый против меня в Рочестере, штат Нью-Йорк, в 1909 году.

Это было 5 декабря 1919, во время лекции в Чикаго, я по телеграфу была проинформирована о том, что решение относительно моей высылки было окончательным. Вопрос о моем гражданстве был поднят тогда в суде, но был, конечно, решен не в мою пользу. Я поначалу намеревалась обратиться в суд более высокой инстанции, но в итоге я решила не делать этого: советская Россия манила меня.

Нелепо скрытно вели себя власти относительно нашей высылки. До самого последнего момента нас держали в неведении того, когда это случится. Тогда, неожиданно, в самые первые часы после полуночи 21 декабря мы были спешно высланы. Зрелище этого действия было самым волнующим. Это были шесть часов в воскресенье утром, 21 декабря 1919 года, когда под тяжелым военным конвоем мы ступили на борт «Бьюфорда».

В течение двадцати восьми дней мы были заключенными. Часовые у дверей наших кают и днем и ночью, часовые на палубе в течение того часа, когда нам ежедневно разрешали вдохнуть свежий воздух. Наши товарищи мужчины были заперты в темных, влажных помещениях, скверная пища, все мы в полном неведении относительно того, куда нас высылают. Но мы были в приподнятом настроении – нас ожидала великая Россия, свободная, новая Россия, а не США.

Всю мою жизнь героическая борьба России за свободу была для меня маяком. Революционное рвение ее измученных мужчин и женщин, которых не могли сломить ни крепость, ни каторга, было моим вдохновением в самые темные часы. Когда новости о Февральской революции вспыхнули во всем мире, я стремилась к той земле, которая свершила чудо и освободила ее людей от старого ярма царизма. Но Америка удерживала меня. Мысль о тридцати годах борьбы за мои идеалы, о моих друзьях и товарищах, лишала возможности сорваться туда. Я собиралась отправиться в Россию позже.

Потом Америка вступила в мировую войну и нужно было донести правду до ее граждан, которые оказались вовлеченны в ураган против их желания. В конце концов, я была в большом долгу за свое становление перед тем, что было самым прекрасным и лучшим в Америке, перед ее борцами за свободу, сыновьями и дочерьми революции, и не могла покинуть страну. Я должна была сохранять им верность. Но взбешенные милитаристы вскоре положили конец мой работе.

Наконец я направлялась в Россию, и все прочее было практически перечеркнуто. Я ожидала увидеть своими глазами Матушку Россию – страну, освобожденную от политических и экономических владык; русскую «дубинушку» – крестьянина, восставшего из унижения; русского рабочего – современного Самсона, который взмахом своей могущественной руки обрушил опоры распадающегося общества. Эти 28 дней на нашей плавучей тюрьме прошли для меня в своего рода трансе. Я едва воспринимала окружающее.

Наконец мы достигли Финляндии, через которую мы были вынуждены передвигаться в заплombированных автомобилях. На российской границе мы были встречены комитетом советского правительства, во главе с Зориным. Они прибыли, чтобы приветствовать первых политических беженцев из Америки.

День был холодный, земля вся в снегу, но весна была в наших сердцах. Скоро мы должны были воочию увидеть революционную Россию. Я предпочла бы быть в одиночестве, когда я смогу ступить на эту священную землю: мой восторг было слишком велик, и я боялась, что я могла быть не в состоянии справиться со своими эмоциями. Когда я достигла Белоострова, первое восторженное впечатление, свойственное беженцу, прошло, но я все еще была переполнена сильными чувствами. Я чувствовала благоговение и смирение нашей группы, члены которой считались уголовниками в Соединенных Штатах, здесь же были приняты как дорогие братья и товарищи и приветствовалась красноармейцами, освободителями России.

Из Белоострова нас отвезли в деревню, где был подготовлен новый прием: темный зал, заполненный так, что было тяжело дышать, трибуна, освещенная масляными лампами, огромный красный флаг, на сцене группа женщин в черных монашеских одеждах. Я стояла как во сне в мертвой тишине. Внезапно раздался голос. Этот голос бился как металл в моих ушах и казался невдохновенным, но он говорил о великом страдании русских людей и о врагах Революции. Другие участники нашей группы выступили перед залом, но меня удерживали эти женщины в черном, их лица, ужасные в желтом свете ламп. Они были действительно монахинями? Революция проникла даже через стены суеверия? Красный Рассвет ворвался в тесные жизни этих отшельниц? Все это казалось странным, захватывающим.

Так или иначе, я оказалась на трибуне. Я только смогла сказать не подумав, что, как и мои товарищи, которые не приехали в Россию, я намерена не поучать, а учиться, получить надежду от нее, и отдать свою жизнь на алтарь Революции.

После встречи нас проводили к ожидающему петроградскому поезду, женщины в черных капорах на распев исполнили «Интернационал», и вся аудитория его подхватила. В автомобиле я была с нашим хозяином, Зориным, который жил в Америке и хорошо говорил на английском языке. Он говорил с энтузиазмом о советском правительстве и его изумительных достижениях. Его беседа была озаряющей, но одна фраза показалась мне противоречащей. Говоря о политической организации его партии, он заметил: «у Таммани Холл ничего нет на нас, а вот относительно Босса Мерфи, мы могли преподать ему одну или две вещи». Я подумала, что человек шутит. Какое отношение может быть между Таммани Холл, Боссом Мерфи и советским правительством?

Я расспрашивала о наших товарищах, которые поспешили из Америки в Россию вместе с первыми новостями о Революции. Многие из них погибли на фронте, другие работают с советским правительством, – сказал мне Зорин. И Шатов? Уильям Шатов, блестящий оратор и способный организатор, был известной фигурой в Америке, часто связывался с нами по нашей работе. Мы послали ему телеграмму из Финляндии и были очень удивлены его отказом ответить. Почему Шатов не приехал, чтобы встретить нас? «Шатов должен был уехать в Сибирь, где ему поручена должность министра железных дорог», – сказал Зорин.

В Петрограде мы снова были встречены аплодисментами. Затем наша группа направилась в знаменитый Таврический дворец, где мы должны были питаться и размещаться на ночь. Зорин попросил Александра Беркмана и меня принять его гостеприимство. Мы сели в ожидающий нас автомобиль. Город был темным и пустынным; ни одной живой души, встретившейся нам по пути. Мы отъехали не очень далеко, когда автомобиль был внезапно остановлен, и электрический свет ударил нам прямо в глаза. Это была милиция, требующая пароль. Петроград недавно отразил нападение Юденича и был все еще на военном положении. Подобный процесс еще не раз повторялся во время всего маршрута. Незадолго до того, как мы достигли цели нашей поездки, нам предстало хорошо освещенное здание. «Это – наш дом заключения», – объяснил Зорин, «но у нас там теперь немного заключенных. Высшая мера наказания отменена, и мы недавно объявили общую политическую амнистию».

И вот автомобиль остановился. «Первый Дом Советов», – сказал Зорин, – «здесь живут наиболее активные члены нашей партии». Зорин и его жена занимали две комнаты, просто, но удобно обставленные. Чай и завтрак были поданы, и наши хозяева развлекали нас захватывающей историей изумительной защиты, которую петроградские рабочие организовали против сил Юденича. Как героически мужчины и женщины, даже дети, помчались на защиту Красного Города! Какую замечательную самодисциплину и взаимопомощь пролетариат продемонстрировал. Вечер прошел в этих воспоминаниях, и я собиралась удалиться в комнату, подготовленную для меня, когда появилась молодая женщина, назвавшаяся невесткой «Билла» Шатова. Она тепло нас приветствовала и попросила, чтобы мы поднялись повидать ее сестру, которая жила этажом выше. Когда мы зашли в их квартиру, я оказалась в объятьях самого большого веселого Билла. Как странно, Зорин сказал мне, что Шатов уехал в Сибирь! Что это означало? Шатов объяснил, что ему

приказали не встречать нас на границе, чтобы не получилось, что наши первые впечатления от советской России были с его подачи. Он впал в немилость у правительства и посылался в Сибирь в действительное изгнание. Его поездка была отсрочена, и поэтому так случилось, что мы все-таки встретились с ним.

Мы провели много времени с Шатовым прежде, чем он уехал из Петрограда. В течение целых дней я слушала его историю Революции, ее светлых и темных сторон, о развивающейся тенденции большевиков вправо. Шатов, однако, настаивал, что было необходимо для всех революционных элементов работать с правительством большевиков. Конечно, коммунисты сделали много ошибок, но то, что они сделали было неизбежно, вынуждено из-за вмешательства союзников и блокады.

Спустя несколько дней после нашего прибытия, Зорин предложил Александру Беркману и мне сопровождать его в Смольный. Смольный, бывшая школа-интернат для дочерей аристократии, был центром революционных событий. Почти каждый камень играл свою роль. Теперь там заседало петроградское правительство. Я нашла здание очень охраняемым и производящим впечатление улья правительственных служащих и чиновников. Отдел Третьего Интернационала был особенно интересен. Это была вотчина Зиновьева. Я была очень впечатлена важностью всего этого.

После представления нас Зорин пригласил нас в столовую Смольного. Еда состояла из хорошего супа, мяса и картофеля, хлеба и чая. Пожалуй, хорошая еда в голодающей России, подумала я.

Наша группа высланных была расквартирована в Смольном. Я беспокоилась о двух девушках, с которыми разделяла каюту на «Бьюфорде». Я хотела забрать их со мной в Первый Дом Советов. Зорин послал за ними. Они прибыли очень взволнованные и сказали нам, что целая группа высланных была размещена под военной охраной. Новость была потрясающей. Люди, которые были изгнаны из Америки из-за их политических убеждений, теперь в революционной России снова заключенные спустя всего лишь три дня после их прибытия. Что случилось?

Мы обернулись к Зорину. Он казался смущенным. «Какая-то ошибка», – сказал он, и немедленно начал наводить справки. Выяснилось, что четыре уголовных преступника были обнаружены среди политических, высланных правительством Соединенных Штатов, и поэтому под охраной оказалась целая группа. Происшествие показалось мне несправедливым и неуместным. Это был мой первый урок о большевистских методах.

Глава II. Петроград

Мои родители переехали в Санкт-Петербург, когда мне было тринадцать лет. Из-за порядков в немецкой школе в Кенигсберге и прусского отношения ко всему русскому, я выросла в атмосфере ненависти к этой стране. Я особенно боялась ужасных нигилистов, которые убили царя Александра II, такого хорошего и доброго, как мне преподавали. Санкт-Петербург был для меня чем-то зловещим. Но веселость города, его живость и блеск, скоро рассеяли мои детские фантазии и заставили город предстать волшебной мечтой. Тогда мое любопытство вызвала революционная тайна, которая, казалось, нависла над каждым, и о которой никто не смел говорить. Когда четыре года спустя я уехала со своей сестрой в Америку, я больше не была той немецкой Гретхен, для которой Россия означала зло. Вся моя душа была преобразована, и уже было посажено то семя, из которого выросло потом дело всей моей жизни. Особенно много сделал для этого Санкт-Петербург, оставшийся в моей памяти яркой картиной, полной жизни и тайны.

Я нашла Петроград 1920-го совершенно другим. Он был почти что в руинах, как будто ураган пронесся по нему. Здания были похожи на разбитые старые могилы на всеми позабытых заброшенных кладбищах. Улицы были грязными и пустынными; вся жизнь ушла из них. Население Петрограда перед войной было почти два миллиона человек; а к 1920 году оно сократилось до пятисот тысяч. Люди передвигались подобно живым трупам; нехватка еды и топлива медленно иссушала город; мрачная смерть хватала его за сердце. Изнуренных и обмороженных мужчин, женщин и детей гнала нужда в поиске куска хлеба или связки дров. Это был душераздирающий вид днем и гнетущая тяжесть по ночам. Особенно по ночам первого месяца в ужасном Петрограде. Полная тишина большого города была парализующей. Она постоянно преследовала меня, эта ужасная гнетущая тишина, нарушаемая только редкими выстрелами. Бывало, я лежала с открытыми глазами, пытаюсь постичь эту тайну. Разве Зорин не говорил, что высшая мера наказания была отменена? Для чего тогда эта стрельба? Сомнения беспокоили мой разум, но я пыталась отстранить их. Ведь я приехала, чтобы учиться.

По большей части, мои первые познания и впечатления от Октябрьской революции и дальнейших событий, я получила от Зориных. Как я уже упоминала, они оба жили в Америке, хорошо говорили по-английски, и стремились просветить меня в истории Революции. Они были преданы делу и работали очень много; в особенности он, который был секретарем Петроградского комитета своей партии, помимо редактирования ежедневной «Красной газеты» он участвовал во многих других делах.

Именно от Зорина я впервые услышала о такой легендарной фигуре как Махно. Махно был анархистом, мне сказали, что при царе он был приговорен к каторге. Освобожденный Февральской революцией, он стал лидером крестьянской армии в Украине, оказавшись чрезвычайно способным и отважным, сыграв выдающуюся роль в деле защиты Революции. В течение некоторого времени Махно действовал в союзе с большевиками, борясь с

контрреволюцией. Потом он стал враждебно настроенным, и теперь его армия, вобрав в себя бандитские элементы, сражается с большевиками. Зорин рассказал, что он был в составе комитета, посланного к Махно, чтобы добиться взаимопонимания. Но Махно не прислушался к доводам большевиков. Он продолжал свою войну против Советов и считался опасным контрреволюционером.

У меня не было никаких возможностей, чтобы подтвердить эту историю, и я была далека от того, чтобы не доверять Зориным. Они оба казались очень искренними и преданными своему делу, по типу религиозных фанатиков, готовых сжечь еретика, но также готовых пожертвовать собственными жизнями по той же причине. Я была очень впечатлена простотой их жизни. Занимая ответственный пост, Зорин, возможно и получал спецпак, но они жили очень скудно, их ужин, часто состоял лишь из селедки, черного хлеба, и чая. Я думаю, это было особенно замечательно, потому что Лиза Зорина была с ребенком в то время.

Спустя две недели после моего прибытия в Россию я была приглашена посетить вечер, посвященный годовщине (50-летию со дня смерти – прим. перев.) Александра Герцена, состоявшимся в Зимнем Дворце. Белый мраморный зал, где проходило собрание, казалось, усиливал жуткий мороз, но собравшиеся люди не обращали внимания на пронизывающий холод. Я также сознавала уникальность ситуации: Александра Герцена, одного из наиболее ненавистных революционеров своего времени, чтят в Зимнем Дворце! Часто и прежде дух Герцена находил свой путь в дом Романовых. Это было, когда «Колокол», изданный за границей, искрящийся блеском Герцена и Тургенева, каким-то таинственным способом оказывался на столе у царя. Теперь царей больше не было, но дух Герцена возвысился вновь и свидетельствовал о воплощении мечты одного из великих людей России.

В один из вечеров мне сообщили, что Зиновьев вернулся из Москвы и собирается видеть меня. Он прибыл около полуночи. Он выглядел очень усталым, его постоянно отвлекали срочными сообщениями. Наш разговор имел общий характер: о тяжелой ситуации в России, нехватке пищи и топлива, тогда особенно острой, и о трудовой ситуации в Америке. Он стремился узнать, «как скоро могла ожидать революция в Соединенных Штатах». У меня не осталось от него определенного впечатления, но я ощущала какой-то изъян в этом человеке, хотя и не могла найти в то время точных слов для этого.

Другим коммунистом, с которым я много виделась в первые недели, был Джон Рид. Я знала его в Америке. Он жил в «Астории», упорно работал и готовился к возвращению в Соединенные Штаты. Он должен был возвращаться через Латвию, и казалось опасался результата этой поездки. Он был в России во время октябрьских событий, и это было уже его вторым посещением России. Как и Шатов, он также настаивал, что темные стороны большевистского режима были неизбежны. Он пылко полагал, что советское правительство выйдет из узких партийных рамок и установит Коммунистическое Содружество. Мы провели много времени вместе, обсуждая различные стороны ситуации.

Пока я так и не встретила ни одного из анархистов, и их отказ от встречи скорее удивлял меня. Однажды друг, которого я знала еще в Штатах, приехал, чтобы спросить, хочу ли я видеть несколько членов анархистской организации. Я с готовностью согласилась. От них я

узнала версию Русской Революции и большевистского режима, совершенно отличающуюся от того, что я слышала прежде. Это было настолько потрясающим, настолько ужасным, что я не могла поверить этому. Они пригласили меня посетить их маленькое собрание, чтобы представить мне свои взгляды.

В следующее воскресенье я пошла на их конференцию. Проходя по Невскому проспекту, у пересечения с Литейным, я натолкнулась на группу женщин, теснившихся друг к другу, чтобы защититься от холода. Они были окружены солдатами, которые говорили и жестикулировали. Те женщины, как я поняла, были проститутками, которые продавали себя за фунт хлеба, кусок мыла или шоколада. Солдаты были единственными, кто мог позволить себе купить их из-за своего дополнительного пайка. Проституция в революционной России. Я задавалась вопросом: что коммунистическое правительство сделало для этих несчастных? Что сделали Советы Рабочих и Крестьян? Мой спутник печально улыбнулся. Советское правительство закрыло публичные дома и теперь пытается увести женщин с улиц, но голод и холод возвращают их снова; кроме того, солдатам нужно развлекаться. Это было слишком ужасно, слишком невероятно, чтобы быть реальным, но все же они там были – те дрожащие существа для продажи и их покупатели, красные защитники Революции. «Проклятые интервенты, блокада – они виноваты», – сказал мой спутник. Ведь да, виноваты контрреволюционеры и блокада», – я уверяла себя. Я попыталась отогнать мысли об увиденной группе, но они все равно преследовали меня. Я чувствовала, что что-то надломилось внутри меня.

Наконец мы пришли в квартиру, в которой проходило собрание анархистов. Она располагалась в обветшавшем доме в грязном заднем дворе. Меня провели в маленькую комнату, переполненную мужчинами и женщинами. Вид напоминал картины тридцатилетней давности, когда, преследуемые и гонимые с места на место анархисты в Америке были вынуждены встречаться в темном зале на Орчард-стрит в Нью-Йорке, или в темной задней комнате салуна. То было в капиталистической Америке. Но это – революционная Россия, которой анархисты помогли стать свободной. Почему им приходится собираться тайно и в таком месте?

Тем вечером и на следующий день я услышала подробное описание предательства Революции большевиками. Рабочие Балтийского завода говорили об их порабощении, кронштадтские моряки высказывали свою горечь и негодование теми людьми, которым они помогли прийти к власти и кто теперь стал их хозяевами. Один из выступавших был осужден на смерть большевиками за его анархистские идеи, но совершил побег и жил теперь на нелегальном положении. Он рассказывал, как у моряков отняли свободу их Советов, как каждое дыхание жизни подвергалось цензуре. Другие говорили о Красном Терроре и репрессиях в Москве, которые привели к броску бомбы в собрание Московского горкома Коммунистической партии в сентябре 1919-го. Они рассказали мне о переполненных тюрьмах, о насилии, осуществляемом над рабочими и крестьянами. Я слушала скорее нетерпеливо, поскольку все во мне кричало против этого обвинительного акта. Это казалось невозможным; этого не могло быть. Кто-то конечно ошибался, и вероятно это были они, мои товарищи, думала я. Они были неблагоразумны, нетерпеливы относительно скорейших результатов. Разве насилие не было неизбежно в революции, и оно не было вынужденным ответом большевиков на действия интервентов? Мои товарищи были

возмущены! «Замаскируйтесь так, чтобы большевики не узнали Вас; возьмите брошюру Кропоткина и попытайтесь распространять ее на советском митинге. Вы скоро удостоверитесь, сказали ли мы Вам правду. Прежде всего, уходите из Первого Дома Советов. Живите среди людей и у Вас будут все доказательства, в которых Вы нуждаетесь».

Каким ребяческим и возбужденным все это казалось перед лицом мирового события, которое произошло в России! Нет, я не могла доверять их историям. Я хотела бы подождать и изучить обстоятельства. Но мои мысли были в смятении, и ночи стали более гнетущими, чем когда-либо.

Настал день, когда мне представился шанс посетить заседание Петросовета. Это должно было быть двойное торжество по случаю возвращения Карла Радека в Россию и доклада Иоффе относительно мирного договора с Эстонией. Как обычно я пошла вместе с Зориными. Собрание было в Таврическом Дворце, прежнем месте заседаний Государственной Думы. Каждый вход в зал охранялся солдатами, сцена также была окружена ими, держащими свои винтовки на взводе. Зал был переполнен до самых дверей. Я была на сцене, а подо мной проплывало море лиц. Они выглядели оголодавшими и несчастными, эти сыновья и дочери народа, герои Красного Петрограда. Как много они перенесли ради Революции! Я чувствовала себя в большом долгу перед ними.

Председательствовал Зиновьев. После того, как «Интернационал» был исполнен вставшей аудиторией, Зиновьев открыл встречу. Он говорил подробно. Его голос звучал высоко, без глубины. В тот момент, когда я услышала его, я поняла, что я упустила в нем во время нашей первой полуночной встречи: силу характера. Затем появился Радек. Он был одаренным, остроумным, саркастичным, и он проявил уважение по отношению к контрреволюционерам и белогвардейцам. В целом это был интересный человек и интересное выступление.

Иоффе смотрелся дипломатом. Хорошо упитанный и ухоженный, он казался довольно неуместным на том собрании. Он говорил об условиях мира с Эстонией, который был встречен аудиторией с энтузиазмом. Конечно, эти люди хотели мира. Но когда мир придет в Россию?

Последним выступал Зорин. Безусловно, его речь была наиболее талантливой и убедительной из всех, прозвучавших на том собрании. Далее была объявлена открытая дискуссия. Меньшевик попросил слова. Немедленно началось столпотворение. Вопли «Предатель!» «Колчаковец!» «Контрреволюционер!» звучали отовсюду из зала и даже со сцены. Мне это показалось недостойным поступком для революционного собрания.

По пути домой я говорила с Зориным об этом. Он смеялся. «Свобода слова – буржуазное суеверие», – сказал он; «в революционный период не может быть никакой свободы слова». Для меня было довольно сомнительным подобное радикальное заявление, но я чувствовала, что не имею никакого права судить. Я сюда только приехала, в то время как те люди, что были в Таврическом Дворце жертвовали собой и страдали во имя Революции. Я не имела никакого права их судить.

Глава III. Смятение мыслей

Жизнь продолжалась. Каждый день приносил новые противоречивые мысли и эмоции. Особенностью, которая волновала меня больше всего, было неравенство, которое я видела повсюду. Я узнала, что рацион обитателей Первого Дома Советов («Астории»), был и больше и качественнее, чем то, что получали рабочие на фабриках. Безусловно, и этих порций было не достаточно, чтобы поддерживать жизнь – но никто в «Астории» не жил на одних только этих порциях. Члены Коммунистической партии, квартировавшие в «Астории», работали в Смольном, и порции в Смольном были лучшими в Петрограде. Кроме того, торговля не была полностью подавлена тогда. Рынки делали прибыльный бизнес, хотя никто не мог или не хотел объяснить мне, откуда бралась покупательная способность. Рабочие не могли позволить себе купить масло, которое тогда стоило 2000 рублей за фунт, сахар – 3000, или мясо – 1000. Неравенство было таким очевидным на кухне «Астории». Я часто ходила туда, хотя приготовить еду было пыткой: борьба дикарей за дюйм места у плиты, женщины жадно следили, чтобы ни у кого не оказалось дополнительных продуктов в кастрюле. Какие начинались ссоры и крики, когда кто-то извлекал кусок мяса из горшка соседа! Но был один спасающий плюс во всей этой картине – негодование слуг, которые работали в «Астории». Они были слугами, хотя назвались товарищами, и они остро чувствовали неравенство: Революция для них была не простой теорией, которая будет осуществлена в последующие годы. Это было живое дело. В один из дней я осознала это.

Пайки распределялись в Комиссариате, но забирать их нужно было самим. Однажды, когда я стояла за пайком в длинной очереди, девушка-крестьянка вошла и попросила уксус. «Уксус! Кто это заказывает такую роскошь?», – закричали несколько женщин. Оказалось, что девушка была служанкой Зиновьева. Она говорила о нем как о своем хозяине, который работал очень много и был, разумеется, наделен правом на кое-какое дополнительное питание. Сразу буря негодования нарушила спокойствие. «Хозяин! Это – то, ради чего мы свершили Революцию, или же она должна была покончить с хозяевами? Зиновьев – не больше, чем мы, и у него нет права получать больше нашего».

Эти работницы были грубыми, даже жестокими, но их чувство справедливости было инстинктивным. Революция для них была чем-то жизненно важным. Они видели неравенство на каждом шагу и ожесточенно негодовали на это. Я был встревожена. Я стремилась уверить себя, что Зиновьев и другие лидеры коммунистов не будут использовать свою власть ради эгоистической выгоды. Это из-за нехватки еды и недостаточно эффективной организации невозможно было накормить всех досыта, и конечно блокада, а не большевики, была в ответе за это. Союзники – интервенты, которые пытались задушить Россию, были причиной.

Каждый из коммунистов, которых я встречала, повторял эту мысль; даже некоторые из анархистов настаивали на этом. Небольшая группа, противопоставившая себя советскому правительству, не была убедительна. Но как примирить эти объяснения с теми рассказами,

которые я узнавала каждый день – о систематическом терроре, безжалостном преследовании и подавлении других революционных элементов?

Другое обстоятельство, которое озадачивало меня, было то, что, рынки были завалены мясом, рыбой, мылом, картофелем, даже ботинками, всякий раз, когда распределяемые нормы на них иссякали. Как эти продукты и вещи попадали на рынок? Все говорили об этом, но никто, казалось, не знал. Однажды я была в часовой мастерской, когда туда зашел солдат. Он заговорил с владельцем на идише, сказав, что только что вернулся из Сибири с грузом чая. Не взял бы часовщик пятьдесят фунтов? На чай был огромный спрос в это время – но лишь привилегированное меньшинство могло позволить себе такую роскошь. Конечно, часовщик захотел взять чай. Когда солдат ушел, я спросила владельца магазина, не думал ли он, что это довольно опасно: проворачивать такой незаконный бизнес так открыто. Я, случайно понимаю идиш, – сказала я ему. Разве он не боится, что я сообщу о нем? «Это – ничего», – мужчина ответил беспечно, «ЧК знает все об этом – они имеют свой процент и с солдата и с меня».

Я начала подозревать, что причина большей части зла была и в самой России, а не только за ее пределами. Но и тогда я пыталась возражать себе: полицейские служащие и детективы берут взятки повсюду. Это – общая болезнь их породы. В России, где нехватка еды и три года голодания должны были превратить большинство людей в мошенников, воровство неизбежно. Большевики пытаются подавить это железной рукой. Как их можно обвинять? Но как я не старалась, я не могла заставить свои сомнения замолчать. Я на ощупь искала какую-либо моральную поддержку, надежное слово, для того, чтобы пролить свет на тревожащие вопросы.

Мне пришла в голову мысль написать Максиму Горькому. Он мог бы мне помочь. Я напомнила ему о его собственной тревоге и разочаровании, с которыми он столкнулся, посетив Америку. Он приехал туда, веря в ее демократию и либерализм, а нашел фанатизм и недостаток гостеприимства вместо этого. Я чувствовала уверенность, что Горький поймет эту борьбу, продолжающуюся во мне, хотя причина уже другая. Увидится ли он со мной? Два дня спустя я получила короткую записку-просьбу, чтобы я позвонила.

Я восхищалась Горьким много лет. Он был живым подтверждением моей веры в то, что творческий художник не может быть подавлен. Горький, сын народа, пария, стал одним из самых больших гениев в мире. Горький, кто своим творчеством, своим глубоким человеческим сочувствием сделал социального изгоя родным нам. В течение многих лет в своих поездках по Америке, я раскрывала гений Горького американским людям, объясняя величие, красоту, и гуманность писателя и его трудов. Теперь мне предстояло увидеться с ним, и с его помощью получить представление о сложной душе России.

Я нашла парадный вход его дома заколоченным, казалось, что нет никакого способа войти внутрь. Я почти уже отчаялась, когда женщина указала мне на черную лестницу. Я поднялась очень высоко и постучала в первую же дверь, которую увидела. Она резко открылась, на мгновение, ослепив меня потоком света и паром от перегретой кухни. Меня проводили в большую столовую. Там было темно, холодно и уныло, несмотря на зажженный камин и большую коллекцию голландского фарфора на стенах. Одна из трех женщин,

которых я заметила на кухне, села за стол рядом со мной, делая вид, что читает книгу, но все время наблюдая за мной уголком глаза. Так прошло полчаса неловкого ожидания.

Наконец появился Горький. Высокий, изможденный, кашляющий, он выглядел больным и утомленным. Он проводил меня в свой полутемный кабинет, который выглядел угнетающе. Едва мы уселись, как дверь распахнулась и другая молодая женщина, которую я до этого не видела, принесла ему стакан темной жидкости, очевидно, какое-то лекарство. Тут же начал звонить телефон; несколько минут спустя Горького вызвали из комнаты. Я поняла, что я не смогу в таких условиях поговорить с ним. Вернувшись, он, должно быть, заметил мое разочарование. Мы согласились отложить наш разговор, пока представится возможность общения в более спокойной обстановке. Он проводил меня до двери, заметив, «Вы должны посетить Балтфлот. Кронштадтские моряки – почти все инстинктивные анархисты. Вы нашли бы поле для своей деятельности там». Я улыбнулась. «Инстинктивные анархисты?» Я сказала: «это означает, что они являются неиспорченными предвзятыми понятиями, бесхитростными, и восприимчивыми. Это – то, что Вы подразумеваете?».

«Да, именно это я подразумеваю», – ответил Горький.

От беседы с Горьким у меня осталось чувство подавленности. Не более удовлетворительной была и вторая встреча – во время моей первой поездки в Москву. Тем же самым поездом поехали Радек, Демьян Бедный, популярный большевистский стихоплет, и Цыперович, тогдашний глава петроградских профсоюзов. Мы все оказались в одном вагоне, который предназначен для большевистских чиновников и государственных сановников, удобном и просторном. С другой стороны, «обычный» человек, не коммунист без влияния, должен был буквально с боем протискиваться в вечно переполняемые железнодорожные вагоны – это если у него был пропуск для поездки, который было получить труднее всего.

Я провела время поездки, обсуждая российские условия с Цыперовичем, доброжелательным человеком глубоких убеждений, и с Демьяном Бедным, крупным грубо-выглядящим человеком. Радек подробно и долго рассказывал разные случаи из его жизни в Германии и о немецких тюрьмах.

Я узнала, что Горький тоже ехал на этом поезде, и была рада новой возможности разговора с ним, когда он позвонил, чтобы увидеть меня. Меня в то время очень взволновала статья, появившаяся в «Петроградской правде» за несколько дней до моего отъезда. В ней рассказывалось о нравственно дефективных детях, автор настаивал на тюрьме, как способе решения проблемы. Ничто из того, что я услышала или увидела за шесть недель моего пребывания в России, не оскорбило меня так, как это жестокое и устаревшее отношение к ребенку. Я стремилась узнать, что Горький думает об этом. Конечно, он был настроен против тюрем для нравственно дефективных, но защищал исправительные заведения вместо этого. «Что Вы подразумеваете под нравственно дефективным?», – спросила я его. «Наша молодёжь – результат алкоголизма, необузданного во время русско-японской войны, и сифилиса. Что кроме моральной дефективности могло получиться из такого наследия?», – ответил он. Я утверждала, что этика меняется вместе с условиями и климатом, и что тот, кто исповедует теорию свободной воли, не может считать этику неизменным предметом. Относительно детей, их чувство ответственности примитивно, и им не достаёт духа

социальной приверженности. Но Горький настаивал, что боится распространения нравственной дефективности среди детей и что такие случаи должны быть изолированы.

Я тогда задала вопрос о проблеме, которая беспокоила меня больше всего. Преследования и террор – это все были неизбежные ужасы, или же изъян был заложен в самом большевизме? Большевики делали ошибки, но они старались делать всё, что могли – сухо сказал Горький. Ничего другого не следовало ожидать, считал он.

Я вспомнила одну из статей Горького, напечатанную в его газете «Новая Жизнь», которую я прочла в тюрьме Миссури. Это было уничтожающее обвинение большевиков. Должно быть, были сильные причины так кардинально изменить точку зрения Горького. Возможно, он прав. Я должна ждать. Я должна изучить ситуацию; я должна постичь факты. Прежде всего, я должна сама увидеть большевизм на практике.

Мы заговорили о драматургии. Во время моего первого визита, в качестве знакомства, я показала Горькому вырезку из газеты – объявление о цикле лекций по драматургии, которые я давала в Америке. Джон Голсуорси был среди тех драматургов, которым я посвятила свои тогдашние лекции. Горький выразил удивление, что я считаю Голсуорси большим художником. По его мнению, Голсуорси не мог быть сравнен с тем же Бернардом Шоу. Я не согласилась. Я не недооцениваю Шоу, но Голсуорси – большой художник. Я нашла Горького раздраженным, и поскольку его сухой кашель продолжался, я прервала обсуждение. Он скоро ушел. От беседы с Горьким у меня осталось удручающее впечатление. Она ничего не дала мне.

Когда мы подъехали на вокзал в Москве, мой компаньон, Демьян Бедный, исчез, и я осталась на платформе со всеми своими пожитками. На мое спасение появился Радек. Он вызвал носильщика, посадил меня с багажом в ожидавший его автомобиль и настоял, чтобы я приехала в его квартиру в Кремле. Там я была любезно принята его женой и приглашена на обед, поданный их горничной. После этого Радек взялся за трудную задачу поселить меня в гостинице «Националь», известной как Первый Дом Моссовета. Несмотря на все его влияние, потребовалось несколько часов, чтобы получить комнату для меня.

Роскошная квартира Радека, служанка, роскошный обед казались странными в России. Но дружеское беспокойство Радека и гостеприимство его жены были приятны мне. Кроме Зориных и Шатовых я больше не встречала такого отношения. Я чувствовала, что доброта, симпатия, и солидарность были все еще живы в России.

Глава IV. Москва: первые впечатления

Прибытие из Петрограда до Москвы подобно внезапному перемещению из пустыни к активной жизни, настолько большой контраст. Выйдя на большую площадь перед главным московским вокзалом, я была поражена при виде суматошных толп, извозчиков и носильщиков. Та же самая картина была на всем пути от вокзала до Кремля. Улицы были заполнены мужчинами, женщинами и детьми. Почти все несли узлы, или тянули нагруженные санки. Была жизнь, движение, и движение, весьма отличающееся от неподвижности, которая угнетала меня в Петрограде.

Я заметила значительное присутствие военных на улицах города, и множество мужчин, одетых в кожаные куртки с оружием на поясе. «Чекисты, наша Чрезвычайная Комиссия», – объяснил Радек. Я слышала о ЧК прежде: Петроград говорил о ней со страхом и ненавистью. Однако солдаты и чекисты никогда не были слишком на виду в городе на Неве. Здесь, в Москве они казались повсюду. Их присутствие напомнило мне о замечании, которое сделал Джек Рид: «Москва – военный лагерь», – сказал он; – «шпионы всюду, бюрократия слишком деспотична. Я всегда чувствую себя освободившимся, когда уезжаю из Москвы. Но, тогда, Петроград – пролетарский город, проникнутый духом Революции. Москва всегда была иерархической». Тем не менее, жизнь была интенсивна, разнообразна и интересна. То, что наиболее сильно поразило меня, помимо демонстративного милитаризма, была невосприимчивость людей. Казалось, не было никаких общих интересов между ними. Всякий мчался как обособленная единица в собственных поисках, толкая и ударяя всех остальных. Неоднократно я видела, как от истощения падали женщины или дети, и никто не останавливался, чтобы оказать помощь. Люди тарасили на меня глаза, когда я склонялась над рассыпавшейся кучей на скользком тротуаре или собирала упавшие узлы. Я говорила с друзьями об этом, что, на мой взгляд, выглядело как странная нехватка сочувствия. Они объясняли это как результат отчасти общего недоверия и подозрения, созданного ЧК, отчасти из-за всепоглощающей задачи найти пропитание на день. Каждый не имел ни жизненных сил, ни чувств, чтобы думать о других. Все же, казалось мне, в Москве не было такой нехватки пищи как в Петрограде, и люди были более тепло и хорошо одеты.

Я проводила много времени на улицах и на рынках. Крупнейший из рынков, знаменитая Сухаревка, постоянно был в движении. Иногда солдаты совершали набеги на рынки; но, как правило, потом их оставляли в покое, чтобы продолжить свою деятельность. Они представляли самую жизненную и интересную часть жизни города. Здесь собирались пролетарий и аристократ, коммунист и буржуа, крестьянин и интеллигент. Здесь они были связаны общим желанием продать и купить, торговать и заключить сделку. Здесь можно было найти в продаже ржавый железный горшок рядом с изящной иконой; старую пару ботинок и затейливой работы кружева; несколько ярдов дешевого набивного ситца и

красивую старую персидскую шаль. Вчерашние богачи, голодные и изнуренные, лишались своей последней роскоши; богачи сегодняшнего дня приобретали – это была действительно удивительная картина в революционной России.

Кто покупал пышное убранство прошлого, и откуда бралась покупательная способность? Покупатели были многочисленными. В Москве люди были не столь ограничены относительно источников информации как в Петрограде; сами улицы были тем источником.

Русские люди даже после четырех лет войны и трех лет революции оставались бесхитростными. Они с подозрением и сдержанно относились к незнакомцам поначалу. Но когда они узнали, что человек прибыл из Америки и не принадлежал к правящей политической партии, они постепенно теряли свою сдержанность. Большое количество информации, которую я получила от них, послужило объяснением некоторых вещей, которые озадачивали меня в начале моего приезда в Россию. Я часто говорила с рабочими и крестьянами, с женщинами на рынках.

Силы, которые привели к Русской Революции, остались *terra incognita* для этих простых людей, но сама революция глубоко запала в их души. Они ничего не знали о теориях, но полагали, что не должно быть больше ненавистных бар, и теперь баре были снова над ними. «У барина есть все», – говорили они, «белый хлеб, одежда, даже шоколад, в то время как у нас ничего нет». «Коммунизм, равенство, свобода», – они усмехались – «ложь и обман».

Я возвращалась в «Националь», ушибленная и избитая, мои иллюзии постепенно исчезали, мои основы рушились. Но я не отступала. В конце концов, думала я, простые люди не могли осознать огромные трудности, стоящие перед советским правительством: империалистические силы выступают против России, многочисленные нападения, истощившие ее мужчин, которые иначе были бы заняты в производительном труде, блокада, которая была безжалостным убийством молодёжи России. Конечно, люди не могли понять эти вещи, и я не должна быть введена в заблуждение их горечью, порожденной страданием. Я должен быть терпеливой. Я должна добраться до источника зла, противостоящего мне.

«Националь», также как петроградская «Астория», прежде был гостиницей, но не в столь хорошем состоянии. Там не выдавались никакие пайки кроме трех четвертей фунта хлеба каждые два дня. Вместо этого была общая столовая, где подавались обед и ужин. Обед состоял из супа и небольшого количества мяса, иногда давали рыбу или оладьи, и чая. На ужин у нас обычно были каша и чай. Еда не была слишком обильна, но можно было прожить на ней, это не было так отвратительно приготовлено.

Я не видела причин для подобного расходования съестных припасов. Посетив кухню, я обнаружила множество слуг, управляемых многими чиновниками, начальниками, и инспекторами. Кухонным работникам плохо платили; кроме того, им не давали ту же самую еду, что и нам. Они негодовали по поводу этой дискриминации, и они не были заинтересованы в своей работе. Эта ситуация привела к большим взяткам и убыткам, преступным перед лицом общей нехватки еды. Немногие из обитателей «Националя», я понимала, принимали пищу в общей столовой. Они готовили себе еду сами или

поручали слугам в отдельной кухне, предназначенной для этой цели. Там, также как и в «Астории», я обнаружила те же самые битвы за место у плиты, те же самые препирательства и ссоры, то же самое жадное, завистливое подглядывание друг за другом. И это был коммунизм в действии? – я задавалась вопросом. Я слышала обычные объяснения: Юденич, Деникин, Колчак, блокада – но стереотипные фразы больше не удовлетворяли меня.

Перед тем как я уехала из Петрограда, Джек Рид сказал мне: «Когда Вы приедете в Москву, разыщите Анжелику Балабанову. Она примет Вас с удовольствием и поможет Вам, если Вам не удастся найти себе комнату». Я слышала о Балабановой раньше, знала о ее работе, и естественно стремилась встретиться с ней.

Спустя несколько дней после приезда в Москву я позвонила ей. Хотела ли она видеть меня? Да, она сразу согласилась, хотя она неважно себя чувствовала. Я нашла Балабанову в маленькой унылой комнате, лежащей свернувшись калачиком на диване. Она не была привлекательной, но ее глаза, большие и сияющие, излучали симпатию и доброту. Она приняла меня очень любезно, как старый друг, и немедленно заказала неизбежный самовар. Во время чаепития мы говорили об Америке, рабочем движении там, нашей высылке, и, наконец, о России. Я задавала ей вопросы, те же самые, что и многим другим коммунистам: о контрастах и несоответствиях, встречаемых мной на каждом шагу. Она удивила меня, не давая обычных оправданий; она была первой, кто не повторял старый рефрен. Да, она говорила о нехватке еды, топлива, и одежды, на которую ложилась большая часть ответственности за взяточничество и коррупцию; но в целом она считала, что сама жизнь посредственна и ограничена. «Скала, о которую разрушены самые высокие надежды. Жизнь мешает лучшим намерениям и ломает самые прекрасные порывы», – сказала она. Пожалуй, довольно необычные взгляды для марксиста, коммуниста, и того, кто находится в самой гуще сражения. Я знала, что она была тогда секретарем Третьего Интернационала. Это была личность, она не была простым подражателем, она глубоко чувствовала сложность российской ситуации. Я ушла под глубоким впечатлением, плененная ее грустными, светящимися глазами.

Я скоро обнаружила, что Балабанова – или Балабановф, как она предпочитала себя называть – была в полном распоряжении всех. Несмотря на неважное здоровье и занятость множеством дел, она все же находила время оказывать помощь множеству своих посетителей. Часто она оказывалась без необходимого ей самой, отдавая свой паек, всегда занятая попытками достать лекарство или какой-нибудь маленький деликатес для больного или страждущего. Ее особой заботой были нуждающиеся итальянцы, которых было множество в Петрограде и Москве. Балабанова жила и работала в Италии много лет, пока она не стала почти настоящей итальянкой. Она глубоко сочувствовала им, тем, кто был так далек как от их родной земли, так и от событий в России. Она была их другом, их советчиком, их главной опорой в мире споров и борьбы. Не только итальянцы, но и почти все остальные были объектом заботы этой замечательной маленькой женщины: никому не нужен был членский билет коммунистической партии, чтобы найти путь к сердцу Анжелики. Не удивительно, что некоторые из ее товарищей смотрели на нее, как на «сентименталистку, тратающую попусту свое драгоценное время на филантропию». Много словесных баталий я имела с подобным типом коммунистов, которые стали черствыми и

безжалостными, целиком лишившись тех качеств, которые характеризовали русского идеалиста прошлого.

Подобную критику Балабановой я услышала от другого ведущего коммуниста, Луначарского. Еще в Петрограде мне сказали о нем насмешливо, «Луначарский – вертопрах, который тратит впустую миллионы на глупые предприятия». Но я стремилась встретиться с человеком, который был комиссаром одного из важных ведомств в России – образования. Теперь такая возможность представилась.

Кремль, старую царскую цитадель, я нашла очень охраняемым объектом, недоступным «обычному» человеку. Но я приехала по записи и в компании человека, который имел входной билет, и поэтому преодолела охрану без проблем. Мы скоро достигли апартаментов Луначарского, расположенных в старом необычном здании внутри Кремля. Хотя приемная была переполнена людьми, ждущими своей очереди, Луначарский пригласил меня тотчас же, как только обо мне известили.

Его приветствие было очень сердечным. «Намерена ли я остаться вольной птицей, или же я пожелаю присоединиться к нему в его работе?» – был один из его первых вопросов. Я была скорее удивлена. Почему придется отказаться от свободы, особенно в образовательной работе? Разве не являются инициатива и свобода неотъемлемыми? Однако я пришла, чтобы узнать из уст Луначарского о революционной системе образования в России, о которой мы так слышаны были в Америке. Я особенно интересовалась заботой, которую получают дети. Московская «Правда», также как и петроградские газеты, вела дискуссии об обращении с морально дефективными детьми. Я выразила удивление таким отношением в советской России. «Конечно, это все является варварским и устарелым», – сказал Луначарский, – и я борюсь с этим изо всех сил. Спонсоры тюрем для детей – старые уголовные юристы, все еще преисполненные царскими методами. Я организовал комиссию из врачей, педагогов, и психологов, чтобы разобраться с этим вопросом. Конечно, те дети не должны быть наказаны». Я почувствовала огромное освобождение. Наконец нашелся человек, который избегает жестоких старых методов наказания. Я рассказала ему о замечательной работе, проделанной в капиталистической Америке судьей Линдси и о некоторых из экспериментальных школ для отсталых детей. Луначарскому очень было интересно. «Да, это то, что мы хотим здесь, американскую систему образования», – воскликнул он. «Вы конечно не подразумеваете американскую систему государственных школ?», – спросила я. «Вы знаете об освободительном движении в Америке против методов наших государственных образовательных школ; работе, проделанной профессором Дьюи и другими?» Луначарский немного слышал об этом. Россия так долго была отрезана от западного мира, была большая нехватка книг по современному образованию. Он стремился узнать о новых идеях и методах. Я чувствовала в Луначарском индивидуальность, полную веры и преданности Революции, ту, которая продолжала большую работу образования в физически и духовно трудных условиях.

Он предложил созвать конференцию учителей, если я буду говорить с ними о новых тенденциях в образовании в Америке, на что я с готовностью согласилась. Позже предполагалось посетить школы и другие учреждения. Я оставила Луначарского, переполненная новой надеждой. Я рассчитывала присоединиться к нему в его работе. Какое

большую услугу можно было оказать русским людям?

Во время моего посещения Москвы я виделась с Луначарским несколько раз. Он всегда был тем же самым доброжелательным человеком, но я скоро начала замечать, что ему препятствовали в его работе силы внутри его собственной партии: большинство его хороших намерений и решений никогда не увидело свет. Очевидно, Луначарский попал в ту самую машину, которая держала все в своих железных тисках. Что же это была за машина? Кто направлял ее движение?

Несмотря на то, что контроль за посетителями в «Национале» был очень строгий, никто не мог без специального пропуска войти или выйти из него, мужчины и женщины различных политических фракций ухитрялись приходить ко мне: анархисты, левые эсеры, кооператоры, и люди, которых я знала еще в Америке и кто вернулся в Россию, чтобы участвовать в Революции. Они возвращались с глубокой верой и большой надеждой, но я видела, что почти все они становились обескураженными, а некоторые даже озлобленными. Широко отличаясь по своим политическим взглядам, почти всех моих гостей связывала общая история: история подъема Революции, замечательный дух, который вел людей вперед, возможности масс, роли большевиков как представителей самых чрезвычайных революционных лозунгов и их последующее предательство Революции, как только они обеспечили свою власть. Все говорили о Брестском мире как начале движения вниз. Особенно левые эсеры, культурные и честные люди, перенесшие множество страданий при царе и теперь видевшие, как препятствуют их надеждам и стремлениям, они были самыми решительными в своем осуждении. Они поддерживали свои утверждения свидетельствами опустошения, вызванного методами насильственной реквизиции и карательных экспедиций в деревнях, пропастью, созданной между городом и деревней, ненавистью, порожденной между крестьянином и рабочим. Они говорили о преследовании их товарищей, расстреле невинных мужчин и женщин, преступной неэффективности, растратах и разрухе.

Как тогда большевики могли удерживать свою власть? В конце концов, они были только маленьким меньшинством, приблизительно пятьсот тысяч членов по завышенным оценкам. Российские массы, мне сказали, были истощены голодом и запуганы террором. Кроме того, они потеряли веру во все партии и идеи. Однако, были отдельные крестьянские восстания в различных частях России, но они были безжалостно подавлены. Были также постоянные забастовки в Москве, Петрограде, и других индустриальных центрах, но цензура была настолько сурова, что мало что из этого становилось достоянием масс.

Я попыталась выяснить мнение своих посетителей об интервенции. «Мы не хотим никакого внешнего вмешательства», – было однозначное мнение. Они считали, что это просто играло на руку большевикам. Они чувствовали, что они не могли публично даже высказаться против них, пока Россия подвергалась нападению, а тем более не могли бороться с их режимом. «Не считаете ли вы, что тактика и методы, применяемые большевиками, вызваны интервенцией и блокадой?», – спорила я. «Это только отчасти так», – был ответ. «Большинство их методов возникло из-за их недостаточного понимания характера и потребностей русских людей и безумной навязчивой идеи диктатуры, которая не является даже диктатурой пролетариата, а диктатурой небольшой группы над пролетариатом».

Когда я начинала обсуждение темы народных Советов и выборов, мои посетители улыбались. «Выборы! В России нет таких вещей, если только Вы не называете угрозы и террор выборами. Именно ими одними большевики обеспечивают себе большинство в Советах. Нескольким меньшевикам, эсерам, или анархистам разрешают проскользнуть в Советы, но у них ни малейшего шанса, чтобы их услышали».

Нарисованная картина выглядела черной и мрачной. Тем не менее, я цеплялась за свою веру.

Глава V. Встречи с людьми

На конференции московских анархистов в марте 1920 года я впервые узнала о роли, которую некоторые анархисты сыграли в Русской Революции. В июльском восстании 1917-го кронштадтские моряки были во главе с анархистом Ярчуком; Учредительное собрание было разогнано Железняковым; анархисты участвовали на всех фронтах и помогли отбить нападения союзников. Это было общее мнение, что анархисты всегда были впереди, смело смотря в лицо огню, а также они были и самыми активными в восстановительной работе. Одной из самых больших фабрик недалеко от Москвы, которая не останавливала работу во время всего периода Революции, управлял анархист. Анархисты делали важную работу в министерстве иностранных дел и во всех других департаментах. Я узнала, что анархисты фактически помогли большевикам взять власть. Пять месяцев спустя, в апреле 1918-го, использовалась артиллерия, чтобы разрушить Московский Клуб Анархистов и подавить их прессу. Это было перед тем, как Мирбах прибыл в Москву. Поле должно было быть «зачищено от беспокоящих элементов», и анархисты стали первыми жертвами. С тех пор преследования анархистов никогда не прекращались.

Московская анархистская конференция была настроена критически не только к существующему режиму, но также и к собственным товарищам. На конференции искренне говорилось об отрицательных сторонах движения, о нехватки единства и кооперирования в его рядах во время революционного периода. Позже мне пришлось больше узнать о внутренних разногласиях в анархистском движении. Перед закрытием конференция решила обратиться к советскому правительству с просьбой освободить заключенных в тюрьму анархистов и легализовать анархистскую образовательную деятельность. Конференция попросила Александра Беркмана и меня подписать резолюцию для большего эффекта. Это был шок для меня, что анархисты должны просить, чтобы какое-либо правительство легализовало их усилия, но я все еще полагала, что советское правительство было, по крайней мере, до некоторой степени выразителем революции. Я подписала резолюцию, и поскольку я должна была увидаться с Лениным через несколько дней, я обещала поднять этот вопрос в беседе с ним.

Встреча с Лениным было устроена Балабановой. «Вы должны увидаться с Ильичом, сказать ему о тех вещах, которые тревожат Вас и о работе, которую Вы хотели бы делать», сказала она. Но прошло некоторое время прежде, чем представилась такая возможность. Наконец однажды Балабанова позвонила по телефону, чтобы спросить, могла бы я тотчас приехать. Ленин послал свой автомобиль, и мы быстро доехали до Кремля, охранники пропустили нас без вопросов, и наконец проводили в рабочий кабинет всесильного президента Народных Комиссаров.

Когда мы вошли, Ленин держал в руках мою брошюру «Суд и речи»[1]*. Я дала свой единственный экземпляр Балабановой, которая очевидно передала ее незадолго перед этой встречей Ленину. Один из его первых вопросов был, «Когда можно ожидать социальную

революцию в Америке?» Мне неоднократно задавали этот вопрос прежде, но я был изумлена, услышав его от Ленина. Казалось невероятным, что человек его информированности так мало знает об американских условиях.

Мой русский в то время был с запинками, но Ленин заявил, что, хотя он и жил в Европе много лет, он так и не научился говорить на иностранных языках: поэтому беседа должна была бы быть продолжена на русском языке. Он сразу произнес хвалебную речь по поводу наших речей в суде. «Какая великолепная возможность пропаганды», сказал он; «это означает, что стоит идти в тюрьму, раз суды могут так успешно быть превращены в форум». Я ощущала его холодный пристальный взгляд, смотрящий на меня, пронизывающий меня, как будто он размышлял над тем, как меня использовать, куда бы меня поместить. Вскоре он спросил, что бы я хотела делать. Я сказала ему, что я хотела бы отдать должное Америке, что она сделала для России. Я говорила об Обществе Друзей Русской Свободы, организованной тридцать лет назад Джорджем Кеннаном и позже реорганизованном Элис Стоун Блэквелл и другими либеральными американцами. Я кратко сделала набросок той замечательной работы, которую они проделали, чтобы пробудить интерес к борьбе за российскую свободу, и большую моральную и финансовую помощь, которую Общество оказывало в течение всех тех лет. В моих планах было организовывать российское общество американской свободы. Ленин казался восторженным. «Это – прекрасная идея, и у Вас должна быть любая помощь, которую Вы пожелаете. Но, конечно, это будет под покровительством Третьего Интернационала. Подготовьте свой план в письменной форме и пошлите его мне».

Я подняла тему анархистов в России. Я показала ему письмо, которое получила от Мартенса, советского представителя в Америке, незадолго до моей высылки. Мартенс утверждал, что анархисты в России наслаждались полной свободой слова и прессы. После того, как я прибыла в Россию, я узнала, что множество анархистов в тюрьме и их пресса запрещена. Я объяснила, что я не могу думать о работе с советским правительством, пока мои товарищи находятся в тюрьме из-за своих убеждений. Я также сказала ему о решениях московской анархистской конференции. Он терпеливо выслушал и обещал обратить внимание его партии к этому вопросу. «Но относительно свободы слова», он заметил, «это есть, конечно, буржуазное понятие. В революционный период не может быть никакой свободы слова. Мы имеем крестьянство, настроенное против нас, потому что мы ничего не можем им дать взамен их хлеба. Они будут на нашей стороне, когда у нас будет хоть что-то, чтобы обменять. Тогда у вас может быть полная свобода слова, которую вы хотите – но не теперь. Недавно нам понадобились крестьяне, чтобы вывезти некоторое количество леса в город. Взамен они потребовали соль. Мы думали, что у нас нет вообще никакой соли, но мы обнаружили семьдесят пудов ее в Москве на одном из наших складов. Сразу у крестьян появилось желание везти лес. Ваши товарищи должны подождать, пока мы не сможем удовлетворить потребности крестьян. Пока же они должны работать с нами. Посмотрите на Вильяма Шатова, например, который помог спасти Петроград от Юденича. Он работает с нами, и мы ценим его услуги. Шатов был среди первых, кто получил орден Красного Знамени».

Свобода слова, свобода прессы, духовные достижения столетий, что они значили для этого человека? Пуританин, он был уверен, что лишь только его схема могла спасти Россию. Те,

кто служил его планам, были правы, другие не могли быть позволены.

Хитрый азиат, этот Ленин. Он знает, как играть на слабых сторонах людей лестью, наградами, медалями. Я осталась убежденной, что его подход к людям был просто утилитарным, для достижения своей схемы он мог избавиться от них. И его схема – действительно ли это была Революция?

Я подготовила план относительно Общества Русских Друзей Американской Свободы и разработала детали предполагаемой мной работы, но я отказалась быть под крылом защиты Третьего Интернационала. Я объяснила Ленину, что американские люди имели немного веры в политику, и будут конечно считать мою деятельность несамостоятельной, что она будет направляться и вестись политической машиной из Москвы. Я не могла напрямую присоединиться к Третьему Интернационалу.

Некоторое время спустя я видела Чичерина. Думаю, было 4 утра, когда состоялась наша беседа. Он также спрашивал о возможностях революции в Америке, и, казалось, сомневался относительно моего мнения, когда я сообщила ему, что не было никакой надежды на это в ближайшем будущем. Мы говорили о ИРМ, о которых он имел очевидно искаженное представление. Я уверила Чичерина в этом, хотя и не состояла в ИРМ. Я сочла необходимым сказать, что они представляли собой единственную сознательную и эффективную революционную пролетарскую организацию в Соединенных Штатах, и несомненно сыграют важную роль в будущей трудовой истории страны.

Вслед за Балабановой Чичерин произвел на меня впечатление очень простого и скромного среди ведущих коммунистов в Москве. Но все они были одинаково наивны в их оценке мира за пределами России. Действительно ли их представление было настолько ошибочным, из-за того, что они так долго были отрезаны от Европы и Америки? Или эта их большая потребность в помощи из Европы была порождением их желаний? Во всяком случае, они все цеплялись за идею приблизить революции в западных странах, забывая, что революции не делаются по заказу, и очевидно не сознавая, что их собственная революция была искажена по форме и внешнему виду и постепенно приближалась к собственной смерти.

Редактор лондонской газеты «Дэйли Геральд», сопровождаемый одним из своих репортеров, оказался в Москве раньше меня. Они хотели посетить Кропоткина, и им дали специальный автомобиль. Вместе с Александром Беркманом и А. Шапиро, я присоединилась к господину Лэнсбери.

Дом Кропоткина располагался внутри сада далеко от улицы. Только слабый свет от керосиновой лампы освещал путь к дому. Кропоткин принял нас со своей характерной обходительностью, очевидно радуясь нашему посещению. Но я была потрясена его изменившимся обликом. В последний раз я видела его в 1907-м, в Париже, когда посетила его после Анархистского Конгресса в Амстердаме. Кропоткин, которому много лет был запрещен въезд во Францию, только что получил это право. Ему было тогда шестьдесят пять лет, но он все еще настолько был полон жизни и энергии, что казался намного моложе. Теперь он выглядел старым и изнуренным.

Я надеялась, что Кропоткин просветит мне те проблемы, которые беспокоили меня, особенно об отношении большевиков к Революции. Каково было его мнение? Почему он молчит так долго?

Я не делала записей во время беседы и поэтому могу передать только суть того, что сказал Кропоткин. Он заявил, что революция вознесла людей к большим духовным высотам и проложила путь к глубоким социальным изменениям. Если бы людям позволили применить их освобожденную энергию, Россия не оказалась бы в нынешней ситуации разрухи. Большевики, которых вынесла на вершину революционная волна, сначала увлекли народ чрезвычайными революционными лозунгами, таким образом, завоевывая и доверие масс, и поддержку воинственных революционеров.

Он продолжал рассказывать, что с начала октябрьского периода большевики начали подчинять интересы революции установлению их диктатуры, которая принудила и парализовала всякую общественную активность. Он говорил, что кооперативы были главной средой, которая, возможно, объединила интересы крестьян и рабочих, кооперативы были разгромлены в первую очередь. С большим чувством он говорил о притеснении и преследовании любого различия во мнениях, и привел многочисленные примеры страдания и бедствий людей. Он подчеркнул, что большевики дискредитировали социализм и коммунизм в глазах русских людей.

«Почему Вы не подняли свой голос против этого зла, против этой машины, которая иссушает жизненную кровь Революции?», – спросила я его. Он привел две причины. Пока Россия подвергалась нападению объединенных империалистов, и русские женщины и дети умирали от воздействия блокады, он не мог присоединиться к вопящему хору экс-революционеров с криком «Мучают!». Он предпочел тишину. Во-вторых, не было никакой среды выражения в самой России. Возражать правительству было бесполезно. Его заботило лишь удержание себя у власти. Оно не обращало внимания на такие «пустяки» как права человека или человеческие жизни. Тогда он добавил: «Мы всегда указывали на последствия марксизма на практике. Почему же мы должны удивляться теперь?».

Я спросила Кропоткина, записывал ли он свои впечатления и наблюдения. Конечно, он должен понимать важность таких записей для его товарищей и рабочих; фактически, для целого мира. «Нет», сказал он; «невозможно писать, когда находишься среди большого человеческого страдания, когда каждый час приносит новые трагедии. К тому же в любой момент могут нагрянуть с обыском. ЧК нагрянет, нападет сзади, и отберет все, вплоть до последнего клочка бумаги. При таком постоянном напряжении невозможно вести записи. Но помимо этих соображений есть моя книга «Этика». Я могу работать над ней лишь несколько часов в день, и я должен сконцентрироваться на этом, исключая все остальное».

После нежного объятия, в котором Петр никогда не мог отказать тем, кого он любил, мы вернулись к нашему автомобилю. На сердце у меня было тяжело, мой дух был в замешательстве и обеспокоен тем, что я услышала. Я была также обеспокоена плохим состоянием здоровья нашего товарища: я боялась, что он может не дожить до весны. Мысль, что Петр Кропоткин может сойти в могилу и мир никогда не узнает того, что он думал о Русской Революции, была ужасна.

[1] Суд и Речи Александра Беркмана и Эммы Гольдман перед Федеральным судом Нью-Йорка, июнь-июль 1917, Mother Earth Publishing Co., New York.